

Мария Гамильтон
повесть

Страсть любовная, до Петра I почти в грубых нравах неизвестная, начала чувствительными сердцами овладевать, и первое утверждение сей перемены от действия чувств произошло.

Князь М. М. Щербатов
«О повреждении нравов в России».

1

Это было в дни, когда вернувшийся из заграничного бегства Алексей на Верховном Суде в аудиенц-зале кричал в лицо царю: «Велик ты, Пётр, да тяжёленек, злодей, убийца и антихрист! Проклянёт бог Россию за тебя!» — в дни, когда древняя, в горлатной шапке, в охабне, разбойничья, раскольничья, бородатая Русь лицом к лицу стала перед царём, проклиная его проклятием сына. В эти дни в Питербурх со всех сторон государства везли в кибитках, гнали по трактам увязанных в колодки по двое, по трое — десятками, сотнями, тысячами свидетелей, участников, их родственников, их свойственников, их друзей и врагов, виновников «слова и дела» государева. Давно и досыта набиты тюрьмы, а очные ставки всё умножают очные ставки, и в застенках не хватает верёвок и топоров. Запомантованное одним, скрытое болью, когда пилилась нога, или всё тело, вытянутое дыбой, готово было лопнуть, как перезвеневающая струна, — вспоминается другим и третьим и десятым — на дыбе, на огне, на виселице, под взмахом топора, который ещё осмеливается блеснуть на солнце. И вот первого снова вздымают на дыбу, и по спине его, прорванной клочьями загнившего мяса, снова хлещет верёвка, вырывая новое признание — о четвёртом, о пятом, о шестом. А пятый, задавленный петлёй, ведёт на плаху седьмого, а шестой, взятый в кнуты, обзывает новых пятнадцать. Двадцатую фамилию прошептали синие, скоробленные губы умирающего. И двадцать первую! И ещё одну! И ещё! Кого же? Врага, с которым давние счёты. Личного своего обидчика, — пусть и он изведает силу царёва кнута. А может быть, соседа? Даже близкого. Но чтобы отпустили хоть сейчас! Хоть на сегодня! Хоть на минуту! Нет! Никому пощады нет! Всех сюда! Жену, брата, сестру, вчерашнюю любовницу, всех, кто видел, кто слышал, кто не осмелился видеть и слышать, всех, кто посмел догадаться и кто догадаться не посмел. В застенок! Да постойте же! Ни капли не осталось сознания, кровь выцежена из этих обвисших освежеванными тушами тел, смертью схвачены их глаза — и сами они не знают, что говорят. Постойте же! Шатается застенок, дыба устала, кровавым потом вспотели палачи, кидают в угол измочалившуюся верёвку, кидают в угол иступившийся топор. А люди всё идут и идут на муку. И жизнь всё идёт и идёт, не узнавая сегодня тех, кто был ей нужен вчера. От друзей царевича Алексея простёрся кровавый след до собственных друзей императора, до князя Якова Долгорукова, до графа Бориса Шереметева, до Баура, до неудачливого на-

вигатора Голицына, до Стефана Яворского, до Иова Новгородского, — да что Стефан и Иов, если сам князь-папа Ромодановский, сам светлейший Меньшиков — брошены на подозрение.

...Проснувшись в четвёртом часу утра, когда дрянненький питербурхский рассвет, которому, казалось, никогда и не родить дня, обмазал молочным киселём окна, Пётр опухшими и со сна простодушно-добрыми глазами с минуту смотрел на узорчатые городки муравленой, с утра жарко натопленной печи. В нос шибало гуляфною водкой, какую подливали в печь для духу, на языке налип колтун после вчерашнего канупера и «большого орла», хваченного на ассамблее у Алексашки, а тесноватый, в затейливо голубую кромку ночкой колпак слез на бровь и натёр лоб до боли. Отхаркнув в угол утреннюю дрянь, Пётр кивком головы обронил колпак и приподнялся на локтях: по утреннему этому его знаку дежурный денщик мчался с рюмкой анисовой, и — царь начинал утро. Но в комнате было тихо, насморочный сквозняк, подувавший от незамазанного окна, колыхал натянутый под потолком тент; ожидая денщика, Пётр поднял глаза на провисшую перину тента, на которой за ночь пробились жёлтые капли испарений, и в момент этот ощутил бередливое, будто от щекотки, беспокойство. Это беспокойство овладевало им всегда, если забывал он о нужном, о чём, проснувшись, надлежало вспомнить в первую же минуту. Опершись о кровать, он встал на ноги, пошёл к окну, чуть сторбившись — той неправдоподобной, ныряюще-косолопой, на всю ступню походкой чужеземного моряка, какую всю жизнь старался в себе выработать.

Кисельный рассвет вяло растворялся над городом, и сквозь слюду окна новая мостовая казалась в нём наспех размазанной чёрной икрой. Десятка два пленных шведов мели главную перспективу большими, не в рост им, метёлками. У парапета каменной набережной, где в утренне оживающей зыби крутились пришвартованные шлюпки, верейки и ботики, распаковывали ящик с венецианской беседкой из алебастра и мрамора, о которой царь хвастливо сказал на вчерашней ассамблее нагловатому голландскому шкиперу, обыгравшему его в шахматы: «Вот проживу три года — буду иметь сад лучше, чем у французского короля в Версале». Из переулка браво выскакала на перспективу коляска с офицером, но того, как шведы стали во фронт, будто по команде «мушкет на краул», поджимая мётлы к животам, царь не заметил: он вспомнил, наконец, то, что обеспокоило его ночью.

— Орлов! — сказал Пётр хрипловатым басом, но в голосе его не прозвучало зова, — так мог бы сказать он всякое другое слово. Ожидая, он отошёл к столу, на котором лежали долота, бумаги, клистирная трубка, карандаши, циркули, зубные щипцы, и потянул корректурный газетный лист, который до выпуска обычно подписывал сам. Прикрыв рукой чуть-чуть задёргавшийся правый глаз, чтоб не мешал читать, Пётр скользил взглядом по первой странице, прочёл о том, что «на Москве за прошедший месяц родилось мужеска и женска полу триста восемьдесят шесть (386) человек», и что «индейский царь послал в дарах Великому Государю Нашему слона и иных вещей не мало», поправил в слове «Царь» большую букву на маленькую, и опять голосом громким, но без зова, сказал:

— Орлов!

Однако в соседних покоях было по-прежнему тихо.

Пётр швырнул газету на стол: он не любил и не умел терять время, а главное — то, что вспомнил он, не терпело отлагательства: дела о доносах, да разве ещё кораблестроение он не откладывал никогда, полагая, что всё остальное может подождать. И сейчас его сердила не пылкая нерадивость денщика, который, раздев на ночь государя, удрал, должно быть, пьянствовать, а то, что он, Пётр, должен ждать. В соседней комнате виновато скрипнула дверь, но, не дожидаясь пока войдут, царь кинулся к постели и сбросил подушку на пол. Под подушку обычно укладывал он на ночь свой сюртук,

в карманы которого набивались за день бумаги, донесения, указы, письма. Вытащив сюртук, он обшарил карманы, разыскивая донос Орлова «о слове и деле государевом», какой вчера ночью, раздевая, подал ему Орлов, но доноса в карманах не было. Не иначе — Орлов спохватился и украл свой донос. Мундир из руки царя скользнул на пол, а лицо задёргалось в судороге, кривившей всю правую сторону лица, как будто он озорно и страшно подмигивал. В беспамятстве, какое овладевало им в гневе внезапно, как припадок — Пётр шагнул к двери, чтоб пойти самому в караульную, на улицу, в сенат, по пути к доносу, как дверь отворилась, и на пороге обозначился дежурный офицер в зелёном, с красными отворотами, преображенском мундире. Офицер вытаращил от страха ничего не видящие глаза и гулко, как в бочку, отрапортовал, что дежурство денщика Орлова кончилось ночью, когда его величество изволил уснуть, и что посланы караульные, чтоб отыскать и доставить. У офицера было белое, будто мукой обсыпанное лицо, а вытаращенные глаза казались вываренными, и, скользнув по ним взглядом, Пётр понял, что невозможно, чтоб желание его не было исполнено, и, от этой мысли успокаиваясь, сказал, почесав под мышкой:

— Сорочьего порошку, рюмку анисовой и рапортовать извольте: кто есть для доклада?

— Князь Голицын пришёл из Голландии, Салтыков Фёдор, герцога голштинского камергер Берхгольц, вашего величества... — с любовной чеканностью, как с детства затверженную молитву рапортовал офицер, расправляя грудь, готовую разорваться от счастливого сознания, что на сегодня грозу как будто пронесит мимо. Утреннего гнева царя, особенно после ассамблей, боялись как грозы: многим в государстве утренний его кашель стоил головы.

— Постой, постой, — перебил царь, — Голицына впусти, покада не найдут Орлова, остальным соблюдать сиянс...

Офицер подался назад, выпал за дверь, и тотчас, будто он ждал за дверью, в комнату ступил человек лет тридцати-тридцати трёх, щёгольски выбритый, в алонжевом парике копной, в камзоле цвета негустого шоколада и в чёрных шёлковых чулках, заправленных в очень тесные, должно быть, жавшие башмаки. Войдя, Голицын подогнул колени, чтоб опуститься на пол, памятуя царский указ о почтении, но Пётр крутым, протыкающим движением большого пальца остановил его, подошёл вплотную, став поворачивать, вертеть его как манекен, обсматривая со всех сторон: пощупал сукно на новом немецком кафтане, с торчащими, тугими, как стекло, фалдами на проволоках, opravил поплывший на запотевшем темени парик, погладил толстую княжескую ногу, обтянутую в чулок.

— Чулок отменный, — сказал, наконец, Пётр, — за такие чулки шёлковые аглицкие плачено мною было полвосемь гульдена.

Но тотчас отскакивая от своих слов будто от бугра, заговорил в упор, дыша на Голицына смрадом сопревшей водки.

— Известны ли вам, князь, статьи, коими по указу нашему 11-го генваря велено было недорослям ехать в европейские государства для науки воинских дел?

Удивленный внезапностью вопроса, князь поднял глаза на царя, но, уколовшись на единственный его левый глаз, который как бы смотрел за два, когда лицо Петра кривилось судорогой, подумал о том, что он пропал и пропал беспощадно.

— Известно, государь.

— А ведомы ли вам чертежи или карты, компасы и прочие морские признаки?

— Ведомы, государь.

— Зер гут, ваше сиятельство, — усмехнулся Пётр, — а владеешь ли судном в бою? — голос Петра всё повышался, всё рос, чтоб дорасти до пронзительного, бьющегося дисканта. — Искал ли быть на море во время боя? А ежели не случилось, искал ли с прилежанием, как в то время поступать? Зер, зер, ваше сиятельство, гут, однако

не вами ли писано велико желание простым на Московии солдатом быть, понеже все дни живота наукой утрудили?

— Государь! — воскликнул Голицын.

— Постой, если я говорю! Пишешь, что кроме природного языка никакой не можешь знать, и лета ушли от науки, и на море тебе некоторыми силами быть невозможно... А про то ведаешь, что я до юношества не только моря, лужи боялся? Про то ведаешь? — переспросил он, приближая своё лицо, перекошенное судорогой, к перекошенному страхом лицу Голицына. Защищаясь, Голицын поднял руку к горлу, будто сдавила горло петля смешанного с отвращением страха. Он хорошо знал пункты, какие писая царь комиссару князю Львову о 34 недорослях, определенных в «навигацкую науку»; в пунктах этих «безо всякие пощады превеликое бедство» сулилось тем, кто науки не одолеет.

— Государь, — воскликнул Голицын, улавливая, наконец, царскую паузу, — в те дни пришёл я в сомнение и печаль, видел в себе, что положенного курса навигацкой науки не управлю, паче натура моя воистину не может снести мореходства...

Сказав, Голицын посинел от ужаса за произнесённые им слова. Много прощал Пётр, а боязни к морю не прощал.

— Денщик вашего величества Орлов найден и доставлен в караул, — крикнул с порога дежурный офицер так громко, как, вероятно, вахтенные блуждающих кораблей «кричат землю».

Пётр усмехнулся — то ли гневным своим мыслям, то ли случаю, миловавшему Голицына, — сказал безразлично:

— Ваше сиятельство, от отцов и дедов титул имеете... Но, ваше сиятельство, помни, — титулы из моих рук даются и за качества, не гусям присущие, кое, как ведомо нам, Рим спасли, за качество, личной, особой натуре присущее, могу я булочника посадить в сердце выше нерадивого княжеского недоросля... Ступай, ваше сиятельство...

Голицын упал на колени; чёрный шёлковый чулок, неприспособленный к русским законам почитания, треснул по шву. Царь, оборотя руку ладонью, протянул её Голицыну для поцелуя. Коснувшись губами руки, Голицын ощутил твёрдую копытью ладонь с мозолями, пахнувшими табаком, и жёлтые пальцы с обломанными ногтями.

— Видишь, — сказал Пётр, — я хоть и царь, а на руках у меня мозоли, а всё оттого, что хочу показать вам пример и хотя бы под старость видеть достойных помощников и слуг отечеству...

И, тотчас забывая о Голицыне, которому он сказал всё, и переставая его видеть, Пётр приказал позвать Орлова.

2

Иван Орлов пропьянствовал всю ночь с Сёмкой Мавриным да с двумя голландскими полшкиперами, и часу в шестом утра, когда кумпания еле расползлась, выбрел на большую перспективу, раздумывая над задачей: когда пойти к Марьюшке? Сейчас, — как будто ещё рано, позднее — встанет императрица, и всех девок покличут наверх. Облёванный полшкипером в припадке дружбы мундир его был растёгнут, а душивший темя парик он снял и сунул в карман. Вихляя из стороны в сторону, цепляясь за деревья, плохо принявшиеся в болотной почве, пожухлые, в скоробленных, будто прожаренных листьях, — Орлов икал от перегара, какой шибал в голову не хуже немецкого мушкета. В домах перспективы с великолепными, как на подбор, резными воротами, на стиле которых отразился весь маршрут поездки царя за границу,

уже просыпалась неторопливая, несмотря ни на что уважающая себя русская жизнь. Вот вышел отворить ворота жилец в длиннополом охабне с бородой, запрятанной в поднятый по самую маковку воротник, но, увидев офицерский мундир, завалился назад в ворота, и Орлов слышал, как щёлкнула увесистая щекотка. Прошли два финна, пролопотали непонятное. Дородные кони в серебре медленно, будто напоказ, протасили экипаж знатного вельможи, впереди лошадей бежали фореиторы, кричали предупреждающими басками: «Эй! ей! ей!» — хотя на пути им не было никого. Немецкий булочник приоткрыл форточку, и в форточку обозначилась отменно похожая на только что взошедший хлеб голова. На плацу уже началось учение преображенских фузилёров, шеренги шли с такой отчётливой ровностью, что Орлов издали показалось — идут всего два человека. Адмиралтейских рабочих, видимо, уже прогнали, — простонародные кабаки опустели, и бочки с полпивом уже были обвешены зипунами, дерюгами, шапками, кафтанами, какие оставались в заклад и выкупались на обратной дороге домой. Увидев пиво, Орлов ощутил жажду, порылся в карманах и не нашёл в них ничего, кроме медной мелочи. Тогда он опять подумал про Марьюшку. Сегодня поутру она обещалась, наконец, дать десять червонцев, какие взялась выпросить у царицы. Орлов вспомнил лицо своей и вчерашней любовницы царя, нарумяненное густо, как требовала придворная мода, с затейливым рисунком дерева из чёрных мушек пониже виска, столь нежного и нервного, что даже сквозь пудру проступали бьющиеся синие жилки. Эти навсегда девичьи, пленительные своей беспомощностью жилки, столь непохожие на дородные лица придворных девок, её легкая, как бы взлетающая походка, её руки, столь нервные, что, казалось, пальцы вот-вот заговорят, и белый с некрашенными зубами рот, за которые модницы с выкрашенными зубами обзывали девку Марьюшку обезьяной, пленили некогда Орлова, как, должно быть, и царя, своей необычностью. Что говорить! — отменная девка, зело вредная девка! С виду поглядеть — ухватить не за что, а сколько силы заключено в маленькой этой женщине с ухватками девчонки и с любовной ненасытностью вдовы! Кто лучше её на всём царицыном верьху умеет разговаривать мушками, крохотной мушкой в углу рта ободрить нерасторопного любовника к поцелую, мушкой у виска обозначить страстность, неприступность — мушкой на лбу, скромность — на нижней губе? Кто звончее смеётся на ассамблее, легче танцует, жарче целует, да так, что поцелуем не напиться: пьёшь всю ночь, а под утро жалеешь, что ночь коротка, как вздох? Не даром весь двор восхищается ею, как дорогой нездешней игрушкой. Недаром сам светлейший Меньшиков! Да что Меньшиков, если сам царь...

«Дура Марья! — с восторгом подумал Орлов, — захоти она — не быть Катке императрицей отныне и вовеки веков». — Аминь! — он сказал вслух, отчего прохожий финн остановился, посмотрел на офицера белёсыми, ничего не понимающими глазами и перешёл на другую сторону.

Ночь прошла в угаре, а без девок, — все «девки с верьху» сидели у царицы, и, подогретый воспоминаниями о Марьюшке, Орлов уже повернул было к зимнему дворцу, как навстречу ему из переулка вышли два в необрезанных кафтанах человека, нёсшие на шесте увязанный в рогожу труп. Выйдя на перспективу, люди эти опустили труп на землю возле расписанных полумесяцами, но с высокими готическими башнями ворот, один из них выудил из-за пазухи восковую свечу и зажёл, после чего оба присели на корточки и гнусавенькими, равнодушно скулящими тенорками запели «господи помилуй», знаками приглашая прохожих жертвовать на погребение. Орлов из пьяной жалости к умершему остановился, но в момент этот сзади кто-то положил руку на его плечо, и голос безразлично суровый, каким многие, подражая Петру, говорили в противовес русскому нараспев, сказал:

— Подпоручик Орлов, его величество, находясь в превеликом зело гневе, требует тебя без промедления...

Оглянувшись, он увидел сержанта и двух фузилёров Преображенского полка из караульной смены сегодняшней ночи и понял, что погиб. Все эти три года, с самой поездки царя за границу, когда в Дрездене, в ночном коридоре — то ли из жалости, то ли из бередливого чувства любопытства к женщине, обласканной царём, — впервые облапил он Марию Даниловну, в слезах и растерзанном лифе выбежавшую из царской спальни, — эти три года всякий день думал он, что пора, пока не дознался царь, оборвать связь. Но при воровских, уже потому заманчивых встречах, глаза её светились такой обжигающей мукой, что у Орлова из чувства благодарности не хватало решимости. Ветреный любовник, он уже давно засматривался на иных девок, но как было уйти от женщины, связь с которой была преступлением против царя, а содружество преступления часто сильнее содружества любви?

«Пропал!» — с весёлой безнадежностью отчаяния подумал Орлов, бросая последнюю медь певцам, какие, завидев фузилёров, уже подняли было покойника, чтобы тащить его на кладбище.

По дороге к царю бок о бок с сержантом, который из уважения к офицерскому его чину приказал фузилёрам следовать поодаль, чтоб печальный кортеж не напоминал ареста, Орлов надумал, что ему остается одно: во всём честно признаться царю — «пил и ел царское, и украл царское» — упасть на колени, а глазное — выдержать первый царский взгляд, напряжённо зоркий, как у орла в неволе. Конечно же, царь поймёт его! Надо только сейчас же, не теряя ни минуты, бежать к царю, всё рассказать, освободить себя, снять с себя...

Вбежав в царский кабинет, забывая артикулы и положения, какие в минуту душевной потрясённости забывали все русские, Орлов упал на колени и, протягивая руки к тому синему (из грубого синего стамеда было нижнее бельё царя), что стояло перед ним, вскричал в ожесточении освобождающего раскаяния:

— Виноват, государь, люблю Марьюшку!

Петра передёрнуло так, словно ему поддали в низ живота. Он наклонил голову к левому своему плечу, рассматривая плечо с такой пристальностью, будто искал на нём блоху, а левая нога его оттянулась назад, как струна. Но Орлов в сладострастии очищающего раскаяния не видел страшной гримасы царя.

— Люблю Марьюшку! — опять воскликнул он; ему в самом деле казалось, что нет ничего дороже этой девушки с прозрачными жилками у бледных висков. Он повторил бы фразу эту десять и сто раз, если бы царь не спросил вдруг голосом благодушно-ровным, будто приказывал принести рюмку анисовой:

— И давно любишь?

— Третий год, — с восторженной растерянностью отвечал Орлов, дивясь, что три года, собранные перед лицом царя в один день, впервые ощущались как одно целое.

— Хорошая девка! — усмехнулся царь, щёлкая пальцами перед самым носом дешика.

— Отменная! — воскликнул ободрённый шуткой Орлов, подымаясь с колен, но царь тем же безразлично-жестким голосом, каким привык разговаривать с людьми, для которых каждое слово падало приказанием, снова бросил его на колени.

— Бывала ль брюхата?

— Бывала, — отвечал Орлов.

— Значит, и рожала?

— Рожала, да мёртвых.

— Встань! — пронзительно крикнул Пётр. Орлова подняло как пушинку.

— А видал ли мёртвых?

— Нет, государь, мёртвых не видывал, от неё слыхивал про то...

Пётр хлопнул в ладоши.

В дверях вновь обозначился давешний дежурный офицер.

— Девку Марию Гаментову с верьху позвать... А ты, — указал он Орлову на своё кресло, когда офицер вышел, — садись.

Орлов, еле волоча ослабевшие ноги, подошёл к царёву креслу и сел. Царь потянул со стола брошенный давеча корректурный лист и отошёл к окну. И только однажды в течение десяти минут, что бегали в царицны покои за камер-фрейлиной, глаза царя и денщика встретились. Но взгляда Петра Орлов не понял, хоть десять минут молчания в царёвом кабинете запомнил на всю жизнь. Была ли то жалость к человеку, какого обрекал он в эту минуту? Или любопытство к сопернику, к другому, к укравшему мужчине, осмелившемуся взять так же, как брал он сам, всё, что считал необходимым: города, людей, корабли, порох, любовь женщин, чулки?

— Из Казани пишут, — вслух прочёл Пётр, — на реке Соку нашли много нефти и медные руды, из той руды медь выплавляли изрядну, от чего чают не малую прибыль государству.

— Так точно, ваше величество, — отвечал Орлов.

— А на реке Охте, выше Канец, — продолжал читать Пётр, — построены пороховые деревянные заводы, и делают на них порох русские пороховщики водою. Иван! — вскрикнул вдруг Пётр, выхватывая криком денщика из кресла, как пушинку, которая, покружив в воздухе взмахнутыми руками, шлёпнулась на пол к ногам шагнувшего царя. Падая, Орлов ещё раз с покорной российской весёлостью отчаянья успел подумать, что всё-таки он пропал, пропал не позже, чем царь успеет дочитать газету. Но, подняв для удара руку, Пётр остановился, — дверь отворилась снова, дежурный офицер доложил, что «девка с верьху» Марья Гаментова ожидают царского приказа. Пётр рывком руки приказал её впустить.

Она вбежала в комнату с лёгкой, фривольной грацией, с той жеманной простодушностью, на какое ей давала право её неофициальная близость к царю. Не видя в полутьме кабинета ни царя, ни распростёртого на полу Орлова, она присела в придворном реверансе. Но Пётр молчал, и, подняв голову для приветствия, Гамильтон поняла всё, сложила руки на широчайшей, на китовом усе, юбке, всходившей вокруг талии как тесто, в спокойствии человека, которому нечего больше терять.

— Как же так, Марьюшка, а? — спросил Пётр, пряча под усами улыбку, какая, казалось, готова была разодрать его лицо. — Иль книжки для тонких душевных страстей бегала к нему читать? «Честный изменник, или Фредерих фон Попплей и Алонзия, супруга его». Так, что ли? Маркиз говорит: «Сердце моё полно есть в помешательстве». Алонзия отвечает: «Душа моя полна есть горьких радостей!» «О, любовь моя, что со мной чинить хочешь?» Отвечай государю своему: любишь его? — засвиставшим, как кнут, шёпотом спросил Пётр, обрывая сам себя.

— Люблю, государь! — отвечала Гамильтон, и глаза её блеснули такой жертвенной, готовой на дыбу, на смерть страстью, что Пётр даже вздрогнул. Не этот ли белый блеск в глазах ярче палаческого огня блестел в застенках? Не этот ли звонкий, ломающийся от экстаза голос слышал он у тех, кто своё, ничего не весившее на весах государства, умел ценить выше жизни?

— Любишь ли, Марьюшка? — переспросил Пётр, всё ещё не веря, всё ещё надеясь, что будет можно, являя царскую милость, простить сблудившую девку.

— Люблю, государь! — отвечала Гамильтон.

Пётр рывком скомкал газету, но схватился тотчас же, широкими своими ладонями стал разглаживать смятые листы. Наконец, царь положил: газету на стол, стал одеваться в сюртук, сказав при этом Орлову: «застегни-ка!» Орлов вскочил с колен, неслушающимися руками схватился застёгивать роговые обломанные пуговицы и, приблизив своё лицо вплотную к лицу царя, по каменному, почти мёртвому его спокойствию, скорее почувствовал, чем догадался о страшном его гневе.

Одевшись, Пётр стянул со стола пошитый из его же волос в короткий бобрый парик, хотел было надеть, но, повертев в руках, сунул в карман, сел в кресло и знаком указал, чтобы оба подошли ближе: установив факт, царь начинал следствие.

— Давно ль состоишь с ним в блуде? — спросил Пётр.

Слово «блуд» будто кнутом обожгло Гамильтон. Бледные, с беспомощно детскими жилками на висках, какие даже в русской щедрой пудре выдавали в ней иностранную породу, щёки Марии заплыли синевой стыда, и руки поднялись в изумлении к пышному поясу роброна. Тонкий до медальной чеканности профиль лица её показался Петру таким непохожим на лица женщин, что пьянствовали на вчерашней ассамблее, и в этой непохожести своей таким прекрасным, что Пётр даже пожалел её той хозяйской жалостью, какой жалел каждый рубль государственных денег, если расходовался он не по назначению и в убыток. Не знавший откату ни в чём, он и девушку Гаментову походя сломал дубинкой своего желания и, взяв, посчитал своей вещью, как чулки, дома или табак. А сегодня — по тому, как вошла она, как смотрела на Орлова, по опущенным её ресницам, по растерянным её рукам — он понял — взял от неё только то, что мог взять приказом, и не взял ничего, что она не хотела дать. А разве не любовь и женственность, неведомые эти русским женщинам движения души — и есть именно залог того, что устоит всё, что он делает? Ведь не дородным и чернозубым русским красавицам, какие и красоту не почитают в красоту, если она менее пяти пудов весу, прогуливаться в променадах меж куртин летнего сада, читать анакреоновы стишки про Венус в венецианской беседке из алебаstra и мрамора?

Она, именно она, шотландская дворянка Гамильтон, своенравная девка Монсова, Марта-Екатерина в делах развития тонких чувств должны служить службу Лефортов и Гордонов для него, а, следовательно и для обширного хозяйства, каким была для него Россия. Ассамблеи, замена боярского охабня, бритые бороды, издание назидательных «Юности честных зерцал», «Фредерихов и Алонзий», — разве это иные, чем закладка верфей и городов, пути? В камзолах, в напудренных париках, в чулках шёлковых за полвосемь гульденов, с тонким маниром Алонзий и Фредерихов, и с чувствами нежными, как колёсики, тонких механизмов в заморских часах — пойдут по питербургским перспективам новые люди, и первым новым человеком будет он сам. И вот это прекраснейшее развитие тонких чувств — залог его победы, не ему, императору, готовому цедить по капле драгоценнейшее вино, — пьянчужке-денщику она бросает под ноги!

С тем старательно-жестоким интересом к факту, какой заставляя Ивана четвертого выбрасывать из окна кошек, а его самого рвать зубы, Пётр продолжал допрос:

— А давно ли состоишь в блуде?

— Третий год, государь, пребываю в любовном альянсе.

Пётр с удивлением поднял голову, подошёл к ней, огромными своими, как кузнечные щипцы, руками взял Марию за плечи, подвёл к окну, стал обглядывать её с таким сосредоточенным вниманием, с каким обглядывал говорящую куклу в Амстердаме.

Она отвечала фразой из книги, какую привёз он в Питербурх, чтоб завести тонкое обращение в народе, и о какой сам только что говорил. С отчаяния она начинала игру, предвидеть которую он не мог, особенно теперь, когда, перегорев хозяйским гневом, он становился следователем самого страшного преступления — непокорства царской воле, какая одна умела знать, в чём состоит счастье отдельного человека и народа.

С покорством неживой куклы влачась к окну, Гамильтон смотрела через плечо царя. Повлекшись за блестящим её, чуточку сумасшедшим взглядом, Пётр увидел, что глаза её остановились на Орлове, который, поднявшись с колен, вжался в выступ печи, откуда в скупом блеске расцвета чернел тёмно-зелёный его мундир. Эти глаза любили ничтожество, вжавшееся в печь, ничтожество, со страху готовое отказаться

от всего на свете, даже от нечеловеческого блеска прекраснейших глаз, вырывающих душу как зуб.

Еле сдерживая бешенство, Пётр отошёл от окна. Впервые в жизни он не знал — что же ему собственно делать?

— Марьюшка! — позвал он в растерянности.

— Государь, — воскликнула Мария, подаваясь на зовущий его голос. Многих обманывал голос Петра, — страдающий, снисходящий к человеку, каким вдруг в порыве самого крутого гнева он умел спросить. Многих задушевный голос-этот, вернее, чем дыба и кнут, заставлял выкладывать сердце нарасташку.

— Марьюшка, — продолжал Пётр тем же скорбным, желающим голосом, в изнеможении прикрывая глаза, — значит, и плод травила?..

— Да, государь.

— Дважды, Марьюшка?

— Дважды, государь...

— Помнишь, в летнем саду у фонтана нашли завернутого в салфетку младенца мужского пола, и девки выразумели твой грех?.. Твой был грех, Марьюшка?

— Мой, государь.

— Так, Марьюшка, так! Правду, единую правду говори мне, — продолжал Пётр, — убила ты, Марьюшка, трёх младенцев, и больно мне, Марьюшка, что, может быть, одного младенчика... императора всероссийского завернула в салфетку!

И вдруг, раскрывая глаза, которые, как волдыри гноем, были налиты готовым лопнуть гневом, ладонью — как топором по плахе — треснул по столу. Его лицо свело в судорожную гримасу, левый ус протыкал щёку, и глаза, огромные, во весь зрачок, остановились на Марии в упор, как фонари на ночном тате.

На пороге — по стуку — как статуи встали давешний офицер и два фузилёра в медных римских киверах с красными перьями. Лучи поднимавшегося солнца брызнули в окна, и первые блики их увидел Пётр на загоревшихся солдатских киверах.

— В застенок! — указал он на Гамильтон.

Офицер с нарочитой грубостью тронул Гамильтон за плечо. Она согнулась сразу, будто сломалась, пошла к двери связанной походкой человека, которому некуда больше спешить. На пороге её снова дернул за плечо командующий голос Петра:

— Знал Орлов об твоих убийствах?

Гамильтон с медленной торжественностью обернулась к царю, и царь видел, каким ослепительным блеском горели её глаза. Тем властным голосом, с той страстной настойчивостью, с какой человек может утверждать только заведомую неправду, она отвечала:

— Нет, государь... не знал...

И пошла прочь к двери, которая сейчас же за ней закрылась; в щель было видно, как сомкнулись за ней кивера, блестящие в утреннем солнце.

Пётр кинулся к Орлову. От напряжения губы Орлова разжались, язык выпал наружу, как у висельника. Пётр долго, со старательной внимательностью, будто ввинчивал свой глаз, как бурав, смотрел в его лицо, и Орлов вспомнил, что с таким же вот безразлично-равнодушным напряжением разглядывал царь трупы в анатомическом театре в Берлине, и когда кто-то из придворных с отвращением отвернулся — царь приказал отвернувшемуся перегрызть зубами горло мертвеца. Не сказав Орлову ни слова, Пётр отошёл к столу, схватился напихивать в карманы бумаги, приборы, зубные щипцы и, запустив руку поглубже в карман, вытащил какую-то бумажку, развернул её, усмехнулся одними усами:

— Ишь ты! Донос-то твой завалился за подкладку...

Забрав всё необходимое, царь окрикнул дежурного офицера, спросил у него, готова ли двуколка, чтобы ехать в адмиралтейство, — распорядился утренний доклад

отменить, а дожидавшемуся Голицыну сопровождать его на верфи, и, уже выходя из комнаты, сказал:

— Посадишь его в крепость пока... Да не забудь, ваше благородие, наказать новому денщику, чтобы на ночь отнёс государыне сюртук починить к утру...

3

Гамильтон четвёртый месяц томилась в тюрьме. Угловой бастион Петропавловской крепости, в который заключили провинившуюся девку с верьху, был уже готов. Окна его выходили на Неву, самый каземат был как бы вырублен в толстой, до того массивной стене, что казалась она выдолбленной в горе.

В окно видны были земляные валы с горками ядер, цейхгаузы, полосатая гарнизонная будка, деревянная церковь Петра и Павла. Под шпигелем церкви висели колокола, и приставленные к ним солдаты каждый час по голландскому обычаю разыгрывали небольшую прелюдию. Только эта русскими руками на морозе вызваниваемая прелюдия да разве ещё праздничный грохот трёхсот пушек с крепостных верок и достигали ушей прекрасной пленницы. Меж тем наряженный по приказанию Петра уголовный суд подбирал обвинительные материалы. Спасая свою жизнь, Орлов писал из каземата письмо за письмом. В этих письмах в беспамятстве страха он лгал и наговаривал на свою несчастную любовницу, словно любовь её оказалась таким же тягостным государственным преступлением, как «слово и дело государево», как сообщничество с Алексеем Петровичем, как легенда о пришедшем на землю антихристе. Он доносил о том, «чтоб спросили про Марью у Александра Подьячего, у Семёна Маврина, что и они с нею жили блудно, и, что он, Орлов, думал про ребят, что не было у ней от множества». В непреодолимом этом страхе за жизнь всё казалось ему преступлением: и любовь, и каждый шаг в прошлом, и даже собственная жизнь. И тем удивительнее, тем прекраснее была любовь, какую сквозь тюрьму и застенки, до плахи, с торжественностью поднятого знамени пронесла Мария Гамильтон.

21 июня 1718 года Гамильтон была допрошена в канцелярии тайных розыскных дел и повинилась во всём. Она повинилась в том, что любила Орлова «больше жизни», что спуталась с ним блудно в царскую поездку по заграницам, когда он сопровождал Петра как денщик, она сопровождала царицу как её горничная. Она повинилась в том, что не ладила с Орловым, который при каждом «весёлом часе», — а пил он по обязанности царского приближенного часто, — имел характер ветреный и ненадёжный, а она всякой выдумкой и женской хитростью старалась его приманить. Она повинилась в том, что дарила своему возлюбленному вещи золотые и червонцы — и Пётр Андреевич Толстой приложил ладонь к тугому своему, старчески-полотняному уху, сделав знак писцу, чтоб внимательно записал реестр подаренного. Она повинилась в том, что когда не хватало своих, крада червонцы у государыни, но крада одна, Орлов не знал об её покражах. Она повинилась и в том, что ревновала Орлова к Авдотье бой-бабе, генеральше Чернышёвой, на какую он взялся было заглядываться, и мечтала погубить свою соперницу, для чего придумывала историю об угрях на носу императрицы, какие происходят якобы от тайной страсти императрицы кушать пчелиный воск.

На столе Толстого колыхался огонёк в каганце, рядом с каганцом лежал чёрный его алонжевый парик: потирая лысую голову платком, он с цепкой внимательностью разглядывал лицо стоявшей перед ним преступницы. О, как отменно знал он эту растерянную гордость приближённого, вчера обласканного царём человека, который — видишь ты, как превратны человеческие судьбы! — сегодня приходил сюда, в застенки, к плетям и к дыбе.

— Матушка, — после долгой паузы проговорил Толстой, оправляя пальцем зачадивший каганец, который вспыхнул, осветив, будто заревом, потный его розовый череп, — не упомнишь ли, что говорил тебе Орлов, не называл ли царя как зазорно, может, и ты называла царя зазорно? Может, сообщников каких знаешь?

— Нет, не знаю никого...

— Ты говоришь, — продолжал Толстой, — ревновала его к Авдотье, а про Авдотью чего не упомнишь ли?

Гамильтон вздрогнула. Одно слово — и соперница станет рядом, и собственная мука, разбавленная мукой другого, покажется легче.

— Нет, и за Авдотьей не помню ничего...

— Точно, матушка, не упомнишь?

— Точно, батюшка, не упомню ничего, — отвечала Гамильтон тем же ласковым, почти нараспев голосом, каким разговаривал с ней Толстой. В застенке никогда не кричали на человека, чтобы не испугать его громким голосом.

Толстой с минуту постоял молча, потирая руки, как бы умывая их, тем жестом, какой подсмотрел он в заграницах у католических патеров, потом сказал в раздумьи:

— Уж и не придумаю я, лапушка моя, что мне с тобой делать? Пяточки что ли попать твои розовенькие? Аль на виску тебя приподнять? Как ты думаешь — с виску не скорее отойдёт твоя память от забывчивости?

Гамильтон невольным жестом, каким защищается человек от опасности, подаваясь к самой опасности вплотную, протянула к нему руки. Да нет же! Шутит Пётр Андреевич, как шутил у Меньшикова, погрозил ему огоньком за то, что лезет к царской любовнице. Ведь складки на его лице, как у старой, отживающей век собаки — добренькие и шёлковые. Вот он возьмет её за руку, как на ассамблее, поведёт в танце, раскланиваясь, ручкой поводя от сердца, будто указывая, как глубоко запала дама в его сердце.

— Пётр Андреевич! — прошептала она чуть слышно.

— Я, лапушка, я! Думаешь: расшутился старичок! А я и сам под топориком хожу... Всякий человек под топориком ходит. Отними топорик от человека — ему и скучно, он и заскучает...

— Пётр Андреевич! — всё ещё не смея поверить, снова позвала она.

— Аль обрить тебя, да водичкой на головку попробовать? — продолжал он вполголоса, будто не слышал её зова, — да вот рассуждаю: ну, как живую выпустит тебя царь? — сколь долго косы отращивать придётся!..

И в том невнятном, сомнамбулическом раздумьи, какое заставляло людей тихонького этого старичка бояться сильнее самой виски, он подошёл к ней ближе и жестом, каким пробуют бабы материю, попробовал мягкость её волос. Гамильтон ощутила запах его руки — пахла она табаком, росным ладаном, какой ввозили из Греции и курили в молебнях, да ещё старческой сухостью кожи, и запах этот тянул поцеловать руку.

— Ух, кабы я знал, — продолжал Толстой рассуждать сам с собой, — что он завтра, государь наш Пётр Алексеевич, захочет... Однако — обрить тебя, пожалуй, всегда успею, огоньком угостить тоже... дам я тебе, так и быть, девка — может и меня добром попомнишь, если вспоминать придётся, дам тебе свидание с Иваном твоим Михайловичем...

— Ваня! — невольно вскрикнула Гамильтон, подаваясь назад. Значит, он на свободе! Не закован! О, какое счастье! Ваня, Ваня! Она готова заклинать этим словом, через которое одно, как через окно каземата, видать и землю и солнце.

— Ишь, как любишь-то! — с усмешкой проговорил Толстой. Он вынул перламутровую свою вывезенную из Неаполя табакерку с игривым пастушком и не спеша отправил в нос понюшку. Отправив, отставил вперед руку, дожидаясь чиха, отчего

лицо его скривилось в добродушной стариковской гримасе, однако не чихнул, сказал писцу:

— Скажи, чтоб ввели Орлова. А ты, красавица, отойди к столику...

Орлова ввели тотчас. Должно быть, он был неподалёку. Войдя в застенки, Иван Михайлович пошёл прямо на Толстого походкой уверенного в себе, в ошибке, в недоумении человека, но, увидев Гамильтон, остановился, как перед ямой. На его лице сразу бросился пот — он не ожидал очной ставки, и присутствие Гамильтон сбивало его с принятого, казавшегося единственно верным решения. А находиться сразу, лезть за словом в карман Иван Михайлович не умел.

— Здравствуй, сынок, — сказал Толстой, — вишь ты, где бог встретиться привёл...

— Пётр Андреевич! Как перед богом и царём, так и перед тобой... виновен — жил с ней блудно... а ни в чем другом не виновен.

Орлов с храбростью отчаяния поднял глаза на Гамильтон. Ну, конечно же! Где ей, слабой женщине, разобраться? Надо во всем положиться на него, идти за ним по верному пути, и он — сильный — выведет.

— Никак даже в голову не пришло! — продолжал Орлов, моргая глазом, и на знак этот Мария ответила согласной на всё улыбкой.

— Про первых двух ребят я и теперь не знаю! А про третьего спросил в Риге: отчего, мол, Марья, брюхо у тебя тугое? Отвечала, что от болезни желудка... Правда ли, Марьюшка?

— Правду, одну правду говоришь.

— Видите, Пётр Андреевич, откуда же я мог знать?

Толстой помолчал, раздумывая, потом опять взялся за табакерку, заправил понюшку и на этот раз вычихнул пронзительным, со свистом, чихом. От чиха лицо его просветлело, и складки на нём задрожали, как тронутый студень. Отчихавшись, он подобрел и улыбнулся, и от улыбки этой Гамильтон стало страшно. Она повела глаза по стенам, по орудиям пытки, и увидела их. Каганец, стоявший на столе Толстого, сбрасывал, как копоть, мохнатые тени в углы, откуда под взмахами огня выступали, как бы высывались из тьмы пыточные орудия. Вот с потолка обвисла верёвка, скользкая, как морской канат, на одном конце верёвки, будто на удочке, мотается крючок, другим заплеталась верёвка на колёсный вал, возле которого стоял во фрунт палач в красной рубахе, — красной потому, что на ней не видны пятна свежей крови. Это — дыба, виска, на неё подвешивают человека за руки, закрученные назад. А когда руки с треском пробки выскочат из суставов, и обвиснет человек на дыбе неживым мешком, подойдёт, поигрывая кнутовищем, палач, готовый с первым ударом, от которого лохмотьями обвиснет кожа на спине, отмочить не менее солёную штуку, чтоб веселей винулись люди.

Толстой с бесстрастной внимательностью следил за бледностью, какая, как у покойника, сливалась со лба женщины книзу, опуская щёки, вытягивая губы и подбородок, обесцвечивая уши, минуту назад горевшие сквозным румянцем. О, как знаком ему был ужас, насквозь пронзавший человека в застенке! По ощущению страха делил он людей на два разряда: первые, входя в застенки, пугались сразу, один вид пыточных орудий заставлял потеть их спину и язык работать так, что писец едва успевал записывать. Этих, слабых, Толстой не уважал, для них и не нужны были пытки. Они, как Орлов, «заходились» сразу, они умоляли предавая, и предавали умоляя, — и разве лишь от гадливого отвращения к подлости, слабости, к низости человеческой природы иной раз приказывал Пётр Андреевич разложить огоньку или подвесить на виску. Но те, кто, входя сюда, не видел комнаты, для кого медленно, как большая июльская гроза, собирался страх, чтобы выпучить глаза, чтобы запереть рот, самую кожу сделать

нечувствительной, какие необъяснимой силой поднимали слабый свой дух до застеночного своего героизма — сколько возни выпадало ему с такими!

— Уж, право, и не знаю я, лапушка моя, — проговорил Толстой с благодушно-стариковской досадой, — с кого из вас начинать прикажешь?

И, не взглянув на тех, чью судьбу решал, отошёл к столу и пальцами поправил зачадивший каганец. Огонь вспыхнул под пальцем, пламя метнулось на пыточные орудия, и они словно стронулись, сдвинулись с места. Но пламя вновь опустилось до слабого, поникающего огонька, заволокшего застенок серой равнодушной полутьмой.

В этот момент в застенок вошёл Пётр.

Пётр целый день провозился в адмиралтействе, спуская новое судно. Лицо его было свежо и красно распаренной, приятной краснотой, какой бывают красны лица моряков от застывающего на щеках солёного ветра. Вошёл он шумно, как привык входить всюду, в свою комнату, в сенат, на ассамблею, в застенок, — на пороге сдёрнул с головы кожаный трех голландского корабельщика, вместе с париком швырнул на стол Толстого, отчего едва не затух каганец.

— Уф, — сказал он, — ехал с Голицыным, а с повороту главной перспективы манит пальцем человек, говорит: жена третий год водяной мучается... сильенькая попалась баба, никак не давалась врачебному искусству. Ноги вязали, как свинье... — Не сбиваясь с тона, каким рассказывал о больной, обратился к Толстому: — Как, чаю я, твой розыск, Пётр Андреевич? Во всём повинились люди, али ещё подозреваешь? — Не дожидаясь ответа, вплотную подошёл к Гамильтон, разом погрузился, словно утонул, в её глаза. Она знала за ним эту привычку подолгу, с мучительной пытливостью всматриваться в вещи, в людей, в чертежи.

— Марьюшка, — позвал Пётр столь осторожным шёпотом, что ни слов, ни даже голоса не слышали ни Толстой, ни Орлов, — ужель и вправду его любишь?

— Государь! — воскликнула Гамильтон, хватая Петра за руку, но Пётр с неловкой нежностью очень сильного и оттого неуверенного в своих движениях человека отвел её руку.

— В одном повинись, — продолжал Пётр, — тот ребёночек, а? что в салфетке... Чей ребёночек, а? Нету Алексея! Нету наследника престола... Кого? Кого завернула в салфетку? — Круглые, вороньи глаза его закачались у неё над лицом, как две сумасшедшие, сорвавшиеся звезды, и страшный его рот, разорванный гримасой, раскрылся пусто и жадно. Беспомощно оглянулся он вокруг, как падающий, ищущий опоры в окружающем человек, крикнул подбежавшему Толстому:

— На дыбу!

Но ни того, как грубым рывком сорвал с Гамильтон одежду палач, ни того, как поднятое дыбой молодое и страшно блеснуло над головой её тело, ни хруста костей, ни всплеска плети — царь не слышал. Его глаза залились пустым, передприпадочным светом, голова крутилась, отвисала назад, чтоб свернуться к плечу. Плечом вперёд, как бугшпритом, пробивая дорогу, он кинулся к выходу, наткнулся на Орлова, крикнул, не узнавая:

— Открой-ка дверь, братец!

И уже с порога, сияясь прокашлять, выплюнуть из себя душившую припадочную ярость, прохрипел:

— Казнишь... смертью её казнишь...

— Видишь, девушка, — обрадованно заговорил Толстой, едва закрылась за царём дверь, — и конец твоим мукам... всего пять кнотов и пришлось моего гостинца... ишь, ты, как счастливо для тебя обернулось...

Пока палач снимал Гамильтон с дыбы, Толстой заправил в нос добрую понюшку табаку и, счастливо расчихавшись, принялся диктовать указ писарю:

— Великий государь, царь и великий князь Пётр Алексеевич всея великия, и ма-
лыя, и белыя России самодержец, будучи в канцелярии тайных розыскных дел, слу-
шав... — постой, постой, что слушал? — спросил он, отводя руку в сторону с новой
шепотью, — эдакий ведь, право, добротный табак делают в Голландии!., слушав вы-
шеописанного дела и выписки, указав, по имянному своему великого государя ука-
зу — девку с верьху Марию Гаментову, что она с Иваном Орловым жила блудно и
была оттого беременная трижды и ребёнков лекарствами из себя вытравила, третьего
удавила и отбросила, за такое её душегубство... казнить смертью...

4

13 марта 1719 года Прасковья Фёдоровна, вдова царя Иоанна Алексеевича, позвала
к себе на чай государя и государыню, и на огонёк, как бы случайно, подошли Президент
адмиралтейств-коллегии генерал-адмирал Фёдор Матвеевич Апраксин, обер-комен-
дант Питербурха Яков Вилимович Брюс и Пётр Андреевич Толстой. Царь был в духе, и
Прасковья Фёдоровна, подливая ему гретое вино с коньяком, леденцом и цитронным
соком — любимый царёв флинт, завела издалека, так что царь долго не мог понять — к
чему она в сущности и клонит. Её старенькое, благообразное личико, собранное годами
в кулачок, повойник, шущун смирного, т. е. темного, цвета, её комната, которую загро-
мождали поставцы, шкапы, скрыни, кипарисовые укладки, панагии, складни, ставики с
мощами, свечи перед иконами и чудотворными медами — всегда обдавали Петра запа-
хом неумолимого тления догнивающей боярской пышности.

Так сейчас, невольно для себя сравнивая дебелое лицо Катеньки с высокими,
застывшими в изумлении бровями, игриво завитые кольца чёрных её до синевы во-
лос, могучую фигуру, с обнажёнными до плеч руками, по которым, как волны, бегали
мускулы, — с тихонькой этой старушкой в смирном платье, с лицом покорным рус-
ской покорностью, которую так и не поймёшь — от слабости ли она, от презрения
ли? — Пётр улыбался озорным своим, невесёлым мыслям. Красота и доука! Сила как
слабость и слабость как сила. Царственная улыбка на лице портомой и собачья скорбь
на лице царицы. Уверенность в каждом шаге, в каждом взгляде больших, чуточку вы-
таращенных, раз навсегда удивлённых глаз, но жадных, но ищущих, удачливых и счас-
тливых. Понурая покорность случайному настроению, виноватый блеск взгляда, как
у Лизетты, у любимицы-собаки, всегда виноватой, потому что она собака и потому,
что она живёт. Блеск каких же глаз он предпочёл бы, каким отдал бы себя без остатку,
готовый служить как царь, как раб? Иным и третьим! Тем, что, не моргая, с холодного,
как у мраморной венецианской статуи, лица; горели тёплыми звездами. Глаза, кото-
рые ни с чьего лица в жизни на него так не смотрели. Этот взгляд Гамильтон преследо-
вал Петра неотступно. Он светился ему в глазах мучимых в застенках. Он неумолимо
сверкал из глаз любовника несчастной Евдокии, Степана Глебова, когда, просидев три
дня на колу, в лицо царю Глебов прошептал, угасая: «Падёт пролитая тобой кровь на
весь твой род от главы на главу!» Не этот ли огонь неистовствовал в глазах сына, Алек-
сея, в иступлении труса кричавшего на заседании Верховного Суда в аудиенц-зале:
«Велик ты, Пётр, велик, да тяжёленек, — злодей, убийца и антихрист! Проклянёт бог
Россию за тебя!» Этим раненым любовью взглядом прощался с ним снятый с дыбы
царевич в застенке: «Батюшка, родненький, мне хорошо! Всё будет хорошо!» Любовь
и ненависть — да где же им границы? А сам он умел любить и ненавидеть? Врач, плот-
ник, механик, император и корабельщик — он умел рвать зубы, точить паникадила
и строить корабли, управлять государством и галерами, но любить и ненавидеть он
не умел. Одну такую любовь, восторженную, как к богу, — и весь мир можно взять в
паруса!

В растерянности оглянулся Пётр вокруг. Катенька наклонилась к Брюсу, слушает его полусшёпот, и царственная улыбка довольной свиньи раскрыла надвое её огромную, как пыльная тыква, голову. Мертвы, схвачены землёю глаза уставшего — насмерть, до беспамятства, до призрака — Толстого, угощающего Апраксина табаком из перламутровой табакерки. Чьи это жёлтые, сухие, по-бабьи покорно, по-мертвецки строго сложенные на животе — эти страшные руки ненавидящей покорности у самого лица? Да, да, — Прасковья Фёдоровна бьёт челом. А он, царь, выслушивает челобитье.

Он вздрогнул, заговорил, не дослушав:

— Я чаю, народ наш как истый младенец суть. Никак не хочет младенец по доброй воле за азбуку приняться, паче к тому приневолен не будет... Ну, а выучится, я чаю, весьма благодарен будет...

— Государь, — сказала Прасковья Фёдоровна, подводя, наконец, разговор к просьбе, — есть в больших твоих делах дела столь малые, что только от одной твоей милости разрешения зависят...

— Невестушка, — отвечал Пётр, поднимая стакан с флином и рассматривая его на свет, — начинаю иметь догадку я, о чём ты челобитье готовишь... Но нет больших и малых дел, и всякое малое дело может стать большим, как большое может умалиться до малости, если к нему прилежания не иметь... Имеем мы образцы других народов, европейских, кои тоже с малого начинали... Пора и нам хоть за малые, да за свои дела приняться, а за нашими плечами будут люди, кои и великих дел не оставят...

— Государь, — оправляя задрожавшими руками щущун, продолжала Прасковья Фёдоровна, — многие милости от тебя я, недостойная, видела, прошу тебя за Марию Гаментову...

— Невестушка, — перебил царь, — кровь, коя пролита и не отмщена, вопиет к небу, и до тех пор не успокоится, пока отмщена не будет...

— Так, государь, так! — продолжала царица. — Есть законы...

Но Пётр не дал ей кончить. Он явно начинал хмуриться, и левый ус его уже полез к глазу так страшно и прямо, что, казалось, вот-вот его выколет. Заметив это движение на лице царя, Пётр Андреевич Толстой склонился к уху Апраксина и прошептал:

— Пропала девка!

— А когда так, — продолжал Пётр, — не хочу быть ни Саулом, ни Ахавом, кои, нерассудной милостью закон нарушив, погибли душою и телом...

И опять, как часто случалось с ним, — в тяжёлую эту секунду, когда слово его повисало законом и кровью, Петром овладело внезапное озорство, заставлявшее его бить в барабан или дьяконствовать на всепьянейших соборах.

— Ну, что ж! Я в малых делах своих, может быть, и сам стал малым. Возьмите на себя смелость, решите её дело по душе своей, а я спорить про то не буду... Вот ты первый и решай! — ткнул он пальцем в грудь Апраксина.

Высокий, болезненно грузный Апраксин, победитель шведов при Гангуте, добродушнейший и застенчивый человек, почувствовал тот бессмысленный животный страх, какой обычно овладевал людьми при встрече с Петром. Но как часто это бывает именно с добродушными и тихими людьми — с той внезапной храбростью, какая граничит с отчаянием, Апраксин заговорил:

— Государь, всё, что есть, и всё, что будет в России, на много лет тебя будет иметь источником, но, государь, человек пьёт милосердие, как дорогое вино, и память о добре крепче сидит в людях, чем память о самых злых казнях... Предшественник твой Иван Великий и четвёртый...

Пётр разом, будто от укола встрепенулся. Поймав гневное движение царя, Апраксин смолк.

— Продолжай, Фёдор, — сказал царь.

— Государь, позволь мне ответить песней, — воодушевляясь собственной храбростью, воскликнул Апраксин, — позволь ответить песней, какую и посейчас поют в народе.

Спасибо тебе, царь Иван Васильевич!
На твоей каменной Москве
Не дай мне бог бывать,
Не только мне, да и детям моим.

— Так, Фёдор, так, — отвечал царь, выслушав иносказательную апраксинскую песню, — позволь и мне ответить... Сей государь Иван Васильевич есть мой предшественник и мой образец. Я всегда его имел образцом в гражданских и воинских моих делах, но не успел столь далеко, как он... Только глупцы, Фёдор, коим неведомы обстоятельства его времени, свойство его народа и великие заслуги, называют Ивана мучителем.

Апраксин молчал, опустив голову на грудь.

— У тебя на груди, — продолжал Пётр, — висит медаль и на ней выбито: «храня сие, не спит: лучше смерть, а не неверность». Верность я почитаю в том, что веришь — к пользе каждое моё движение направляю. Говорят про меня иностранцы, что расами я управляю, но надлежит знать народ, как оным управлять надо... А Россия — не государство, как ведают то иностранцы, а часть света...

Когда Пётр умолк, по знаку взял слово Толстой, и с тем напряжением, с каким всегда приглядывался он к этому человеку, Пётр и теперь пригнулся к самому лицу его, — серо-жёлтому лицу насмерть уставшего танцора. Его лисьи брови, неправдоподобно взброшенные тугой тушью на лоб, до отблеска чёрный парик казались насаженными на голый череп, который вот-вот улыбнётся, оскаливая рот со старчески розоватыми, не удержавшими ни одного зуба дёснами. От беззубья Толстой пришепывал, заглывал слова, не прожёвывая.

— Нрав человеческий, — зашамкал Толстой любимым своим изречением из Макиавелли, — поймать и вывести — великая философия, много труднейшая суть, нежели умные книги наизусть помнить. Но выведена у той девки, тонкой и худой с виду, многая крепость воли и терпение за страсть, кою она превыше жизни почитает, как раскольники ученье своё...

Пётр улыбнулся тонкому сравнению Толстого:

— Давно бы я срубил твою голову, Пётр Андреевич, если бы она не была так умна. Ну, да ладно... По порядку, твоё слово, Яков Вилимович! — повернулся Пётр к Брюсу. Его, видимо, начинал забавлять этот поочерёдный опрос приближённых — и на всепьянейших соборах любил он опаивать вельмож и натравливать их одного на другого.

Брюс молчал, рассматривал хитроумную завязь на литом серебряном блюде с орехами, изюмом, цветными пряниками, от которых, как в мороз, ныли зубы. Его предки — как и Гамильтоны — в 1567 году, после отречения Марии Стюарт от престола, католики и роялисты, «кавалеры», бросились искать счастья к чужеземным государям. Брюсы, Гильберты, Гамильтоны, Гордоны, Лерманты — здесь, при дворе русского государя, они держались близким товариществом, землячеством; Интересы и судьба одного узлами изгнания и класса увязаны были судьбой другого.

— Что ж молчишь, Яков Вилимович? — переспросил Пётр.

— Государь, — отвечал Брюс, поднимая от блюда выбритое холёное лицо своё, — сам видишь затруднительность челобитья, к коему я за свою соотечественницу прибегнуть должен, — но вспомни, государь, что она — чужестранка.

Но Пётр по обыкновению своему не дослушал, раз понял то, что хотел сказать собеседник.

— Знаю, Яков Вилимович! — заговорил он, — но мы имеем такие же руки, глаза и состав тела, как имеют и просвещённые народы, а, следовательно, равные с ними душевные способности. Пусть в нас вложены сердца ещё грубые и вырожденные, но я хочу, и я сделаю эти сердца мягкими, даже если бы пришлось родить нового человека... Воистину быть пусту Питербурху, если не возродятся, аки от сна, нами душевные дарования... И не только мастерством и знанием, но образом поведения должен служить нам каждый чужестранец, дабы могли мы подражать не только их наукам, но и благонравию их чувств. Воровать же, душегубствовать и блудить мы сами умеем в зело превосходной степени...

Когда ответил каждый, и все умолкли, — Пётр понял, что чаепитие было и совано лишь для того, чтобы ходатайствовать за Гамильтон, и оттого ему стало скучно. И голосом разбитым и хриплым сказал, понимая, что всё равно отвечать ему никто не осмелится:

— Решайте, как хотите — я спорить не буду... — Он встал и, не дожидаясь ответа, пошёл к двери, больно стукнулся головой о низкую притолку, какие делались низкими нарочно, чтобы всякий входящий поклонился прежде, чем войти.

5

На другой день, едва начало рассветать, по Питербурху пошёл отряд преображенских фузилёров с барабанщиком и с чиновником. Утро было мокрое и туманное, и барабанный бой бил глухо, как в воду. Отряд останавливался на площадях и на перекрёстках, и окна, заставленные изнутри суконными втулками, приоткрывались, и сквозь слюду падала на улицу полоска света подошедшей снутри свечи. От вкрадчивого свечного огня оживали смешные фигуры зверей, птиц и травы на слюде, но свет потухал тотчас, едва чиновник мокрым, спитым с непогоды голосом схватывался выкликать о казни нераскаянной деки Гаментовой. Отряд обошёл главную перспективу, остановился было у адмиралтейства, где готовились к спуску нового корабля, чиновник посмотрел непроспавшимися глазами на корабль, приказал тут не бить, и отряд повернул назад к Троицкой площади.

На площади с ночи толкался, ожидая казни, праздный народ. Тут были и торговки, и пьяненький какой-то офицер, и неосторожный боярин в горлатной шапке, десятка три рабочих, отставших от партии, круглоликий финн с коротенькой носогреющей под опаленным усом, пленный швед в заплатанном мундире и в русских лаптях, и очень много баб. Бабы кутались в платки, просовывая в щелки платков глаза, жались одна к другой, как на морозе; чья-то занозистая божья старушка в коричневом шушуне всё лезла вперед к колесу, с которого до сих пор не сняли бородатую боярскую голову казнённого по делу царевича Алексея. Голова с равнодушной весёлостью, будто шапка набекрень у загулявшего прапорщика, сидела на полу, посматривая круглыми отверстиями выклеванных глаз. На деревянном помосте, чёрном и скользком от промёрзшей крови, покуривал коротенькую, в самый нос пыхавшую трубку голенастый палач в красной рубахе, нос палача зловеще озарялся снизу; держа на согнутом локте топор, он оглядывал праздный народ с той степенной и неторопливой важностью, с какой могут держаться на большом народе только люди, привыкшие, чтоб каждое их движение отмечали сотни глаз.

В пятом часу утра на площади показалась царская двуколка — Пётр ехал в адмиралтейство. У помоста он соскочил с двуколки, бросив вожжи подбежавшему прапорщику. В это время, — будто приезда царя ждали как сигнала, — ворота крепости

отворились, и на площадь в сопровождении солдат, окружавших её полукольцом, вышла Гамильтон. На Гамильтон было надето белое шёлковое платье — с кружевным фонтанжем и чёрными лентами, в котором увидел её царь впервые. Последнюю ночь она провела, должно быть, без сна, но черты её лица, обострённые мукой и ожиданием казни, казались оттого ещё прекраснее. Входя на эшафот, она, как всегда, держалась прямо, каждый свой жест, каждый свой шаг подчеркивая осознаваемым достоинством, её губы — белые и чуть согнутые — запеклись слюною бессонницы. И, глядя на них, Пётр вспомнил, что он никогда не слышал их смеха. Всегда в этой женщине оставалось что-то для неё самое, и, даже всходя на смерть, это неузнанное и скрытое она несла как святыню. Мутное, странное раздражение, как к прекрасному непонятому насекомому, какое вот-вот улетит, на какое надо броситься и раздавить шапкой, опять овладело Петром с прежней силой. Помогая взойти на эшафот, он протянул Гамильтон руку, и, опираясь на его руку, она присела в реверансе, как приседала, бывало, на ассамблее, когда царь приглашал её к танцу.

Пётр рывком рванул её к себе, но качнувшееся лицо её и близкие, очень прозрачные, такие же стеклянные, как её улыбка, глаза засветились такой нестерпимой ненавистью, что он ужаснулся. Он понимал, что в эту минуту она была сильнее его и что чувство, какого ему так и не пришлось испытать в жизни, оказывалось ещё более сильным, чем смерть. Эти глаза должны любить, ибо кому же тогда любить, как не этим глазам? Кому ж тогда и служить, как не прекраснейшему блеску прекраснейших этих глаз? Люби его эти глаза, и взятая в паруса шестая часть земли не посмела бы послушаться руки, лёгшей на штурвал, правящей уверенно путь корабля, если на небе светит Полярная звезда, путеводительница отважных капитанов.

Забывая, где он, забывая про толпу, ждавшую, насторожив дыханье, — чего ждавшую? помилования или потехи, какой тешился когда-то царь, самолично рубя непокорные головы стрельцов? — не видя Толстого, который подходил к нему плетущейся походкой патера, — царь сам повёл её к помосту, перед которым она упала, наклоня голову к плахе, исполосованной, будто прошитой чёрными жгутами пристывшей крови. В это утро, 14 марта 1719 года, когда подал он знак палачу и сам отвернулся, чтоб не видеть и не слышать, — впервые и единожды в жизни он поступал вопреки своей воле, вопреки всему, что делал и чем жил. Стоя спиной к помосту, он судорожно раскрытыми глазами смотрел на народ, на толпу, на Россию, которая была перед ним сейчас. Он видел замороженные страхом и любопытством глаза, женские укутанные по самые брови в платок головы, наплюснутые в напускном равнодушии шапки, руки, шевелившиеся сами по себе. Эти замороженные ожиданием крови глаза не видели его, Петра. И вот, будто по громовой пушечной команде с крепостных верок, глаза толпы прикрылись разом, чтоб медленно, не веря ничему, разжаться через секунду, чтоб скользнуть взглядом по небу, мокрому и низкому в насморочной питербурхской весне, чтоб увидеть Петра, стоявшего на кровавом помосте, и сморгнуть ещё раз от блеска петровых глаз, смотревших поверх голов тем взглядом, каким корабельщики блуждающих кораблей ищут землю.

— Ваше величество, — позвал царя Толстой.

— А? — с минуту не понимая ничего, смотрел он на полуживой череп, окаймленный, как трауром, черным алонжевым париком. И вдруг, очнувшись, рукой отстранил Толстого, отчего тот едва не упал с помоста, поднял с земли мёртвую голову, в упор смотревшую на него тёплыми глазами, потушить которые не смогла даже смерть.

— Вот здесь, — сказал царь голосом столь тихим, что не слышал сам своей речи, — видим мы устройство жил на человеческой шее. Прямая и красная идёт сонная артерия, а от неё видишь позвоночник... кой, я чаю, пришёлся по топору пятым. Голову же сию приказываю вам, ваше сиятельство, сдать в кунсткамеру при Академии Наук на вечные хранения...

Поцеловав голову в губы, он сунул её в руки Толстому, сошёл с помоста, — не видя пошёл вперёд к ожидавшей двуколке, не глядя на народ, который подался перед ним в сторону, как перед попом в церкви, который так и не сомкнулся за ним, как за ходом большого корабля долго не смыкается волна, крутясь потревоженным хвостом взбудораженного морского простора.